

«НЕ В ПОСЛЕДНИЙ ЛИ ПОХОД?..»
(ВОЙНА В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ А. ТВАРДОВСКОГО)

В. М. Акаткин

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 1 июля 2021 г.

Аннотация: в статье рассматривается своеобразие художественного мира А. Твардовского, особенности преобразования реалий Великой Отечественной войны, а также их осмысление в дневниках и письмах, в поэзии и прозе, попытки осознания войны как повторяющегося, трагического состояния человеческой жизни.

Ключевые слова: война, победа, поражения, реванш, кампания, поход, враг, противник, подвиг, память, гуманизм, слово, поэзия, проза и др.

Abstract: the article is devoted to the originality of A. Tvardovsky's artistic world, the transformation peculiarities of the Great Patriotic War realities, as well as their understanding in diaries and letters, in poetry and prose, attempts to understand the war as a recurring, tragic state of human life.

Keywords: war, victory, defeat, revenge, campaign, military expedition, enemy, antagonist, feat, memory, humanism, word, poetry, prose, etc.

В 1943 году Илья Эренбург, оглядываясь на Первую мировую, писал: «В 1914–1917 гг. в Европе не было ни одного человека, который не клялся бы, что эта война была последней. Теперь же нет ни одного сумасшедшего в Европе, который бы сказал, что эта будет последней» [1, 96]. Звучит дискуссионно, потому что о Первой и Второй войне говорили разное. Во время Первой мировой, пишет М. Геллер, царило возмущение жестокостью немцев, отсюда возникает решимость воевать с ними до победы. И эта война «станет последней битвой, обеспечивающей вечный мир» [2, 604].

После Второй мировой, пишет П. Жилин, «казалось, что завоеванный в многотрудной борьбе мир навсегда утвердился на нашей планете. Но ход исторических событий не оправдал чаяния народов» [3, 165]. Сказано так, будто война и чаяния — отдельные, не взаимосвязанные, не исходящие из одного источника стихии. Война и в XXI веке остаётся «вопросом всех вопросов», какой-то тайной, не поддающейся разгадке. И не потому только, что тайны войны разгадывают противостоящие стороны конфликта. Суть дела в «неоднозначности восприятия самого существа войны, особенностей её социально-психологической природы» [4, 239–240]. Для одного народа война — это завоевания, обретения, победа, героика, слава, для другого — поражения, потери, страдания, скорбь и слезы. Правда, они нередко меняются местами даже в ходе одного столкновения...

Вторая мировая (а для нас Великая Отечественная) еще и сегодня не остыла в сознании людей, даже знающих о ней по книгам и фильмам. Поэтому рито-

рическим кажется вопрос Г. Хаузера «Надо ли до сих пор писать о войне?» Надо, отвечает он, ибо «кто же еще в недалеком будущем сможет рассказать об эпохе — будем надеяться — последней мировой войны, как не те, кто выстрадал ее, кто принимал в ней участие на стороне правды» [5, 146]. Заметим, что в последние годы о войне больше пишут те, кто не видит нас «на стороне правды». А нам верится, что, победно завершив войну, мы исполнили свой долг, совершили праведное дело, после которого воевать не придется. «Мы полагали тогда, — вспоминает А. Ананьев, — что наша война была последней» [6, 115]. С ним солидарен фронтовик А. Генатулин: «Тогда нам казалось, что мы пережили последнюю войну человечества, что мир наступил на века» и что наша Победа в 1945-м завершила историю войн [7, 118].

Дописывая победительную главу своего «Василия Теркина» в Восточной Пруссии, Твардовский тоже надеялся, что скоро пробьет судный час над врагом и будет вынесен приговор войне. Однако исторический опыт народа окрасил его надежду вопросительной интонацией.

И за всю войну впервые
Немца нет перед тобой.
В честь победы огневые
Грянут следом за Москвой.

Грянет залп многоголосый,
Заглушая шум волны.
И пошли стволы, колеса
На другой конец войны.
С песней тронулись колонны
Не в последний ли поход?

И ладонью запыленной
Сам солдат слезу утрет [8, 324].

Отчего эта слеза? От радости победы? От предчувствия новых тягостных испытаний? Неужели зря рвал он жилы и проливал кровь, чтобы навсегда покончить с войнами? В поэме «Геркин на том свете» наш герой, попав в загробное царство после тяжелого ранения, оглядывает вместе с погибшим ранее товарищем военный отдел, где собраны и учтены жертвы всех войн.

И в своем строю лежачем
Им предстал сплошной грядой
Тот Отдел, что обозначен
Был армейскою звездой.

Лица воинов спокойны,
Точно видят в вечном сне,
Что, какие были войны,
Все вместились в их войне.

Отгремел их край передний,
Мнится им в безгласной мгле,
Что была она последней,
Эта битва на земле [9, 350–351].

Для них, да, последняя, к тому же во сне, в котором всё бывает. А вот для оставшихся в живых? В приведенных строфах из поэм Твардовского эта мысль (или надежда) о последней войне является либо сквозь солдатскую слезу, либо в мертвом сне: по-настоящему твердой уверенности в том, что так и будет, нет: это только «мнится»...

В 40–50-х годах широко заявленная тема борьбы за мир оборачивается подготовкой к новой войне, попирающей «жестокую память» о недавно отгремевшей. Но для поэта, посвятившего свой любимый труд «Павшим памяти священной», это лежачий строй погибших воинов должен встать неодолимой преградой перед милитаристскими затеями.

И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна,
Покамест бедой невозвратной
Не станет для мира война [10, 53].

Послевоенный мир, о котором так мечталось в тылу и на фронте, явился за опавшими салютами неприветливым и суровым, он «полон сдавленной тревоги, беды, что очереди ждет». Всего-то через пять лет, как зачихали горячие стволы орудий, вдруг вновь «глухая слышится пальба».

И день войны, нещадный день,
Вступает в горы и долины,
Где городов и деревень
Дымятся вновь и вновь руины.

Идут бои, горит земля.
Не нов, не нов жестокий опыт:
Он в эти горы и поля
Перенесен от стен Европы [11, 213].

Почему же опять и опять «живой душе война грозит»? Ведь общий враг народов повержен, откуда же снова раздается «чуждый жизни шаг»? Вопросы... вопросы...

Твардовский знал войну не по учебникам, не понаслышке: он был участником Западно-Белорусского похода, служил военным корреспондентом на финской и на Великой Отечественной. Финскую «незнаменитую» (это не означает прогулочную, безжертвенную) он запечатлел несколькими стихотворениями и дневниковыми записями «С Карельского перешейка», изданными 30 лет спустя, в 1969 году. О Великой Отечественной он думал и писал всю жизнь как о народном бедствии и подвиге «ради жизни на земле», придав этому подвигу простоту и величие эпоса и задушевность лирики. В обеих этих войнах он находил много общего и считал их одной войной, а в «Книге про бойца» нашли свое место некоторые главы и строки, написанные ещё на финской. По характеру боёв, мощи огня и множеству жертв Твардовский понимал, в каком направлении движутся войны. Вот одна из картинок северного фронта: «По Выборгскому направлению уцелевшие дома — редкость. Трубы, трубы с печами на огнищах... занесенных снегом... А мимо несутся машины, гремят и повизгивают гусеницы танков и тракторов, скрипят сани на буксире у грузовиков.

Все время... было такое ощущение, что нечто громадное и необычное еще впереди, что еще будет, будет всего. То едут какие-то невероятные пушки, каких и артиллеристы не все видели, то какие-то приспособления, щиты, бронесани, то еще чёрт знает что пододвигается, подтягивается силой несчетного, несметного количества моторов...» [12, 180]. Тогда для Твардовского эти картины были в новинку, и он непроизвольно ими восхищался: «Страшно и радостно было ощущать эту ни с чем не сравнимую силу техники, моторов, механизмов, металла, ринувшуюся в снега, в леса, все преодолевающую — не легко, нет! — но непреодолимо» [13, 199].

Трагический опыт Великой Отечественной, Хиросима и Нагасаки, Корея и Вьетнам призвали иные переживания, близкие к Апокалипсису.

В случае главной утопии, —
В Азии этой, в Европе ли, —
Нам-то она не гроза:
Пожили, водочки попили,
Будет уже за глаза...

Жаль, вроде песни той, — деточек,
Мальчиков наших да девочек,
Всей неоглядной красы...
Ранних весенних веточек
В капельках первой росы...
15.III. — 1969 [13, 202]

При жизни поэта это стихотворение не было опубликовано, хотя «главная утопия» тут только пред-

полагается: «в случае». В прежних войнах не все веточки сжигал огонь, но детишек так же было жаль... В одном из лучших стихотворений о войне («В пути») Твардовский показывает встречу солдата и солдатки — бездомных, заброшенных бедой неизвестно куда, у женщины еще и двое детей. И каждый печётся не о себе: солдат — о жене и семье, а солдатка о муже, словно нет у них никаких болей и тягот. Нет здесь ни грохота танков и орудий, ни взрывов и пожаров, ни стонов и смертей, но всё равно властвует война.

Черна на небе туча,
Страшна беда-война.
Да бабья мочь живуча,
Тягуча, брат, она.
Не в шутку говорится —
На бабах все сейчас.
Осталось научиться
Рожать одним без вас.
Того и не хватало,—
Закончила она.
— Научитесь, пожалуй,—
Вдохнул солдат,— война.

Потом добавил тише,
Куда-то глядя вдаль:
— Все ничего, детишек,
Детишек только жаль.

В огне, в огне полсвета,
Огнем горит закат,
Семья в дороге где-то,
В пути отец-солдат [14, 114–115].

Какою силой вырвало этих простых, добрых людей из-под родных крыш и бросило в жерло страшной войны? Все фронтовые годы Твардовский будет всматриваться в эту войну, пытаться распознать её, охватить сознанием и словом — всю, целиком, в её бесконечности и самых малых подробностях, в единках жизни и смерти, в бедах и победах.

В панорамном видении войны участвует всё им написанное и сказанное: стихотворения и поэмы, черновые наброски, «записи для себя», статьи, дневники и письма, выступления, так или иначе зафиксированные. Перекликаясь между собой, порой имея разночтения, они представляют сложную, контрастную, но объемную и цельную картину эпохи и, конечно, облик ее выразителя и певца. Он тоже, как и воюющий народ, ходил в «свою атаку» на врага, он тоже совершал «свой подвиг», сражаясь стихом с мороком войны.

Как журналист и писатель, Твардовский работал в четырех фронтовых газетах: «Часовой Родины», «На страже Родины», «Красная Армия» и «Красноармейская правда». По собственному признанию, на войне он работал «как линотип», доходя порой до нервного истощения, до отвращения к писанию. Однако «на годы войны, — уточняет А. Кондратович, — падает

наибольшая “продуктивность” в работе поэта» [15, 180]. В самом деле, за пять фронтовых лет, не очень-то благоприятных для творчества, он написал третью часть всего созданного за 45! Война не отпускала его и в дни мира: «Лично я, наверное, во всю свою жизнь уже не смогу отойти от сурового и величественного, бесконечно разнообразного и так мало приоткрытого в литературе мира и событий, человеческих судеб, переживаний и впечатлений военного периода» [16].

«Человек на войне» звучит по существу трагически — как человек в горячей избе или в водоворотах половодья, ибо тут всегда под вопросом его жизнь. Броситься ему на помощь? Или занести в блокнотик непридуманную деталь? В горячке боя человек, писал Твардовский, «необыкновенно легко забывается. Убит, и всё» [12, 167]. Писатель-фронтовик В. Быков вспоминал: «В годы войны, когда человеческая жизнь нередко была средством к великой цели, не таким важным казалось имя человека, что упал рядом...» [17, 5]. Твардовский всеми силами души, всеми средствами, какие есть у поэта, старался преодолеть дистанцию между автором и героем, породнить их. Для него бойцы не «автоматы с автоматами», как говорил Эренбург о немцах, а люди «живые и теплые», друзья, братья, земляки, не казенные, кадровые вояки, а «милые ребята», «стриженный народ», «желторотые юнцы», с трепетом сердца ожидающие своего часа в атаке, быть может, последнего: «Скольким из них чаще всего не возвратиться домой, ничего не рассказать... Помню, впервые испытал чувство прямо-таки нежности к этим людям. Впервые ощутил их как родных, дорогих мне лично людей... Мое место, в сущности, среди рядовых бойцов» [12, 155]. Твардовского коробило служебное, чиновничье отношение к солдату как к винтику, передаточному звену. Знавший его с конца 20-х годов С. Фиксин пишет о нем как о «настоящем знатоке деревни и ее людей... Перед тобой они встают как живые, с ними просто хочется поговорить, тебе кажется, что ты видел этих людей, встречался с ними. И вот талантливое перо художника снова сводит тебя с этими старыми знакомыми» [18]. Но как тогда попадало Твардовскому за таких героев, за Моргунка прежде всего... По выходе первых же глав «Василия Теркина» у него установилась прочная обратная связь с читателем-солдатом, о чём он сказал в интервью «Учительской газете»: «Отзывы о поэме от фронтовиков — самые ценные рецензии на мою работу» [19]. В поэме эти читатели увидели самих себя, обобщенно выраженных в образе Василия Теркина. В дневниках поэта они предстают многоликим обобщенным Иваном. В поисках для него ободряющего слова Твардовский писал: «А каких слов он стоит, этот человек! Иногда мне кажется, что если б у меня нашлись такие слова, то было бы полностью оправдано мое пребывание здесь и я мог бы с уверенностью сказать, что я воюю. А так нет-нет и защежит стыд перед теми, с кем ви-

жусь от времени до времени и покидаю их, спеша заключить в строчки полученное от них... О чём бы я ни думал, я вновь возвращаюсь к мысли о нем, об Иване, на плечи которого свалилась вся страшная тяжесть этой войны» [20, 23]. Необходимо сказать, что в этих словах — концептуальное ядро не только военного, но и всего творчества Твардовского.

Громаду войны, ее страшную тяжесть вынесет только человек-народ, Иван, или Теркин. В своеобразном поединке с ней оказывается и поэт. Во время финской войны он подчиняет всего себя, все свои помыслы и побуждения её ходу, нашим успехам или неудачам. Главное — «ощущение великой трудности войны» [12, 156]. Но газетные стихи еще «не содержат в себе никаких следов пережитого или увиденного мною. А те, в которых хоть что-нибудь есть, начинаются с “На привале”» [12, 158. — первая глава будущего «Теркина»]. Почему же «никаких следов»? Да потому, что еще не целиком и полностью занят, поглощен войной. Нужно ещё какое-то внутреннее замыкание, озарение, творческое прикипание ко всему, что узнал и увидел. «Как-то пошел в умывальную, “гор.” — “хол.” и проч. — и вдруг приходит мне простая мысль: а ведь я вижу войну, настоящую войну, суровую и ожесточенную. Я же столько уже видел и слышал! Живем, пишем, болтаем, едим, замерзаем, пьем, едим и т.д. Но ею, войною, уже безвозвратно отрезана какая-то половина жизни, что-то навек закрылось. Сознание постарело» [12, 158]. Как после этого радоваться обыкновенной жизни, весне, утреннему морозцу? «И вдруг — мысль: а там, на фронте, ещё не кончено, ещё мы переваливаем через такие трудности, ещё — чёрт её знает что! Никакой весны. Война, а не весна. Стыдно, невозможно заниматься мечтами, воспоминаниями, собой» [12, 158].

Подобное состояние повторилось, когда он вернулся из Чистополя в Воронеж в феврале 1942 года, захватив с собой «тетрадку с финскими набросками “поэмы”» [20, 40]: «Тут еще совсем весеннее утро, чистый хороший Воронеж... А ранняя весна — самое мое щемящее время. А какая тут весна, когда война» [20, 40]. Война выдвигает требование «работать как можно лучше» [20, 41]. Побывав на передовой, он резко повышает моральные требования к себе: «Если не вести себя на этой войне, как следует, то и оставаться жить после незачем» [20, 51]. Он принимает решение «изменить “офицерский” образ жизни, работать всерьез, не отмахиваясь легкой газетчинкой, искать, пробовать...» [20, 58–59]. Эти поиски привели его к «Теркину», начатому еще на финской. Великая война мобилизовала его на великий замысел. «В самое трудное время я был там, где было очень нелегко. Сейчас я пишу и уверен, что это нужно, необходимо» [20, 68]. Полная поглощенность войной погружала его с головой в работу над «Теркиным». Он чувствовал: «Поэма нужна до зарезу. Все происходящее обязывает напрячь все силы, делать свой

“подвиг”» [20, 85]. Какая весна, какие побочные интересы, когда «все теперь в страшном повсеместном огне войны»? [20, 94].

Однако с первых шагов нашего отступления, даже возможной сдачи столицы он верил в нашу победу. Да, «здесь все совсем по-другому, это не Финляндия» [20, 12], где мы только наступали, где совсем другим был масштаб войны. Наш отход «будет, может быть, даже большим... но это путь к победе» [12, 13]. Несмотря на ожесточенное сопротивление врагу, наше бегство было столь стремительным, а потери столь огромными, что трудно было уложить все это в сознании: «Я томлюсь иногда, что грозное величие происходящего не могу взять в соответствующие слова» [20, 18]. Вместе с разбитыми частями Твардовскому едва удалось вырваться из окружения. «Не все мы вышли. Много осталось где-то в лесах, а то и в плену или убитыми и ранеными. Но ничего. Немцев побьем-таки, в этом я уверен, несмотря на все горькие и обидные вещи» [20, 20]. Откуда такая уверенность? Храбрится перед женой, не хочет ее огорчать? Не только. Это из глубины сознания, из исторического опыта, из народного инстинкта. Внешние успехи противника — это «уже не его воля, а воля неизбежности, толкающей его. Может быть, он вырвется и еще дальше, но все это ведет его только к концу» [20, 19].

Война — это пока стремительный «драп-кросс» до Воронежа, это потери родных и близких, страх, кровь, муки жажды и голода, неизвестности, позора и т.п. «Устал я немного не так физически, как душевно, — пишет он из Валук. — Но не поддаюсь и никогда не поддамся... Сейчас как раз та пора, когда нужно показать себя человеком» [20, 23–24]. Он ощутил себя известным и даже любимым поэтом в армии, чувствовал, что «действительно нужен людям, несущим все невероятные тяготы и испытания войны» [20, 26]. От этого ему «хочется писать теперь уже что-нибудь совсем хорошее» [20, 27]. Он сетует, что воронежские месяцы прошли «неполноценно, мелко, рассеянно»: «А под боком — война — всё та же — жестокая, трудная, стоящая стольких жизней, стольких страданий» [20, 41]. Войну Твардовский воспринимал как суровое требование к человеку мобилизоваться, или, как говорил А. М. Абрамов, «поставить себя на новый завод», для себя же он выбил как на камне: «Война всерьез, поэзия должна быть всерьез» [20, 65]. 20 апреля 1942 года Твардовского переводят приказом в Москву. Открывается «возможность выступить в большой печати, почувствовать настоящий уровень требований, делать что-то большее, чем здесь (в Воронеже. — В. А.), вообще ощутить себя в “ином качестве”» [20, 65]. Война отодвинулась в прошлое физически, но стала ближе в работе над большими замыслами — «Книгой про бойца» и «Домом у дороги». Он словно пересел из повозки в самолет — и скорость выше, и обзор шире, и многое видится

по-новому. Оглядываясь на работу в «Красной Армии», он пишет: «Мне сейчас понятно мое тяжелое настроение всех этих месяцев. Это было сознание того, что я делаю не то, не главное, не то, что должен делать именно я (как поэт.— В. А.). А сейчас у меня именно это чувство. Я пишу, как я хочу, и знаю, что без всякой дидактики штука эта будет очень нужна и полезна» [20, 84].

Но штука эта — «Василий Теркин» — оказалась такой же требовательной, как война, все помыслы, все радости, все огорчения, все мечты и трепеты души — только ей, и тогда она будет нужна людям. По положению на фронтах он чувствовал, что война не стала менее опасной и страшной, чем год назад: враг подступает к Волге, к Сталинграду, рвется на Кавказ, занял Воронеж. Как ответить словом на эту критическую ситуацию, чтобы не добавить мук, терзаний и паники? «Малейшие оттенки сводки Информбюро оказывают на меня самое прямое влияние... Писать сейчас, т.е. сочинять, страшно трудно. Трудно отвлечься от реальной гигантской картины войны, несущей нам покамест очень мало веселого, отвлечься и вызвать свой особый мир, в котором все это так или иначе должно быть облегчено, вернее, облагорожено...» [20, 100]. И мы понимаем, почему первая часть поэмы (отступательная), завершающаяся «Поединком», более светлая и балагуристая, чем третья (победительная). О «Поединке» Твардовский сказал: «Глава очень символическая, в то же время почти натуралистическая — как Теркин дерется врукопашную с немцем, долго, страшно... Факт этот, как все из жизни...» [20, 100–101]. За этой страшной дракой не просвечивает ли страшная битва на Волге? О ней он хорошо знал не только по сводкам Информбюро, но и по рассказам участников.

Самый важный вывод, какой можно сделать из признаний и решений Твардовского, наверно, такой: судьба поэта, характер его писаний неразрывно связаны с ходом войны, с судьбой страны. В русской литературе немало примеров «самой жгучей, самой смертной связи» с Родиной, с её дыханием и сердцебиением. И когда ей тяжело и больно, он не ищет виноватых, а все принимает на себя: «Дела на фронте трудные и грозные, время такое, что стыдно идти по улице в военной форме здоровому человеку. Нужно быть там, где самое трудное, а чем там поможешь?» [20, 88]. И он бросает на помощь фронту своего «Василия Теркина», первые главы которого появились в «Красноармейской правде» 4 сентября 1942 года. Помощь эта шла непрерывно до 12 мая 1943 года (20 глав!). В одном только сентябре 1942 года брошено на прорыв 9 глав, а до конца года еще 6! Работал ли кто-нибудь из фронтовых писателей с такой горячей интенсивностью?

Знарок военной литературы П. Топер назвал «Книгу про бойца» «веселой книгой». Да, согласился бы Твардовский, «случалось, врал для смеху, ни-

когда не лгал для лжи» [8, 327]. Доброму слову, как говорится, и собака рада, а уж солдату-окопнику оно втройне дороже.

Я мечтал о сущем чуде:
Чтоб от выдумки моей
На войне живущим людям
Было, может быть, теплей.

Чтобы радостью неожиданной
У бойца согрелась грудь,
Как от той гармошки драной,
Что случится где-нибудь [8, 329].

Но доброе слово и веселость рождаются из противостояния злу и смерти, от которых Твардовский не отводит взгляда. В «Неурочной главе» он напоминал необстрелянным бойцам:

Друг-читатель, ты не дома,
Ты среди огня и грома [21].

Война так неохватна и тягостна, так смертоносна и разрушительна, так вездесуща, что от нее «некуда податься».

Заняла война полсвета,
Стон стоит второе лето.
Опоясал фронт страну.
Где-то Ладога... А где-то
Дон — и то же на Дону...

Где-то лошади в упряжке
В скалах зубы бьют об лед...
Где-то яблоня цветет,
И моряк в одной тельняшке
Тащит степью пулемет...

Где-то бомбы топчут город,
Тонут на море суда...
Где-то танки лезут в горы,
К Волге двинулась беда... [8, 234].

Война, словно огненно-пепельная туча, извергнутая Везувием, накрывает нашу землю, губя все живое. А каково солдату на поле боя под бомбежкой или артобстрелом?

И какой ты вдруг покорный
На груди лежишь земной,
Заслонясь от смерти черной
Только собственной спиной.
Ты лежишь ничком, парнишка
Двадцати неполных лет.
Вот сейчас тебе и крышка,
Вот тебя уже и нет [8, 228].

И всю жизнь, что была в памяти, отодвинула, заглушила грохочущая в перепонках смерть. Она разгуливает по всем главам поэмы, собирая обильный жертвенный урожай — погибших солдат.

Сколько их на свете нету,
Что прочли тебя, поэт,
Словно бедной книге этой
Много, много, много лет [8, 329].

Почитайте «Переправу», «На Днепре», «Бой в болоте», «Про солдата-сироту» — и веселость та покажется немислимой, чудом, сотворенным подвигом поэта, как в сказке. Трижды повторенное тут «много» относится не только ко времени, но и к погибшим, умножая их число, как в «Переправе» троекратное «на дно»:

Густо было там народу —
Наших стриженных ребят... [8, 177].

Наверно, никто больше Твардовский не писал о страшных следах, какие оставляет за собой война, как она корежит, ломает, уродует, сжигает все на своем пути: «Сколько попорчено земли и леса — бомбами, окопами, блиндажами — тяжкими, рытыми следами войны. Никогда не зарыть всех этих ям с заплесневелыми кругляшами накатов и черной водой по самые края, всех этих противотанковых рвов, которые так и кажется, что тянутся они с севера на восток рядами поперек всей страны — теперь уже до Волги» [20, 96]. В «Армейском сапожнике» (первоначальное название «Под праздник») подобные картины предстают в стиле народного плача как всеобщее горе земли и людей. Под праздником тут имелось в виду 25-летие Октябрьской революции.

Наломано столько железа,
Попорчено столько земли
И столько повалено леса,
Как будто столетья прошли.
А сколько разрушено крова,
Погублено жизни самой.
Иной — и живой и здоровый, —
Куда он вернется домой?
Найдет ли окошко родное,
Куда постучаться в ночи?
Все — прахом, все — пеплом-золою.
Сынишка сидит сиротою
С немецкой гармошкой губною
На чьей-то холодной печи.
Поник журавель у колодца,
И некому воду носить.
И что еще встретить придется —
Само не пройдет, не сотрется, —
За все это надо спросить... [8, 79–80].

Но, как сказано замерзающим на снегу Теркиным, «с войны не взыщешь Ни в каком уже суде» [8, 274]. Все молятся богу войны, все ей подчинено, все она пожирает без спроса, без разбора, даже уцелевший дом разламывает для своих оборонительных сооружений. Ржавую колючую проволоку в созревающей ржи Твардовский ощущает так, будто она протянута по его телу. А ведь все на земле и сама земля предназначены для жизни. «Нет мест, специально приспособленных, predeterminedных для войны. Докуда война ни дойдет, везде накорезит, нагородит свои тоскливые и страшные, хитроумные и бессмысленные сооружения» [20, 100].

При отступлении некогда было всматриваться в эти сооружения. Они — и наши, и вражеские — от-

крылись взгляду потом, в поездках на фронт, подо Ржев и далее, когда мы уже стали наступать. Картины увиделись страшные: размолоченные в щепку, в крошево или сожженные дома и подворья, голодные и холодные взрослые и дети, развороченные снарядами и бомбами окрестности, грязь, расхлябанные непроезжие дороги и т.п. С приближением к Смоленску видеть все это становилось невыносимее.

Встречу с родной землей Твардовский пережил так же горько и драматично, как смерть любимого сыночка Саши. «Никаких родных мест, никаких впечатлений, примет узнавания. Только война с ее характерными приметами и чертами, присущими ей всюду, где я ее видел...» [20, 175]. Более того, «не смог “на местности”, поросшей всякой дрянью запустения, найти место, где был наш двор и сад, где росли деревья, посаженные отцом и мною самим». Не нашел ничего, с чем «связано все лучшее, что есть во мне — поэтическая способность. Более того — это сам я как личность. Эта связь всегда была дорога для меня и даже томительна» [20, 176]. Там он нашел свою родительскую семью, устроил на Запольном в Смоленске, обеспечил продуктами, поселился на время с ними. И, конечно, многое узнал об их мытарствах после раскулачивания и во время войны, о судьбе отцовского «дома у дороги». Все это так или иначе отразилось на содержании и тональности его поэм и прозы. Вокруг — «повсеместное разорение и уродство» [20, 176], в семье «бедность, неустроенность тяжкая. И вместе с тем какая-то у всех... пассивность и спокойствие» [20, 177; 180]. Освобождение обнажило старые и новые проблемы, и Твардовский решает во второй части идти «стежкой иной», о чем он писал еще в октябре 1942 года: в ней «будут идти вперемежку главы о войне и мирной жизни... будет уделено большое место миру, прежней жизни героя» [20, 110]. Не все живут одним днем, т.е. войной, «к тому же в поэме уже дано войны порядочно. Итак, вещь, не потеряв своего актуального военного смысла и звучания, будет сюжетно и всячески значительно расширена в сторону невоенной жизни» [20, 110]. Он, наверно, чувствовал, что ему как военному писателю, находящемуся на службе во фронтовой газете, вряд ли позволят подобное расширение. Поэтому заранее настраивает себя на сопротивление: «Я обязан работать так, как думаю сам, как подсказывает мне ум и чутьё и заставлять людей принимать это» [20, 110–111].

Структуру «Книги про бойца» он определил так: первая часть — отступление, «вторая — Смоленщина, третья — наступление. На этом можно будет (“без конца”) оборвать» [20, 113]. Именно на Смоленщине, «в самой гуще бед, несчастий и идиотизма “стариков” и всей семьи» [20, 183] он «принялся первым долгом кончать вторую поэму (“Дом у дороги”. — В. А.), т.к. я в ней врезаюсь в самую гущу вопросов, которые более всего занимают меня последнее вре-

мя, да и вообще» [20, 182]. Именно здесь он задумал повествование «Пан Твардовский» — об отце, о судьбе крестьянства, пьесе «Мужья и жены» — об окруженцах. Великий перелом и великая война сближаются в полосе его творческих поисков, все заметнее обретающих исторический характер: «Мысли — все о войне, о ее первом и последующих годах, о “полосах” её, о семье, в которой многое кажется... таким диким. А дело в том, что 13 лет они... жили жизнью мужицкого переселенческого табора. Опустились. Провожу суровые реформы» [20, 187; 190].

Рубеж 1943–1944 годов — самые трудные для него месяцы. «Настроения, мысли все исключительно грустные, как будто я уже совсем стар и ничего не успел» [20, 207]. «Теркин» не появляется в «Красноармейской правде» более года (с 12.5.43 по 23.5.44). В один «из самых тяжелых» дней (3 января 1944 г.) он набрасывает начало главы «Теркина на том свете», позднее не раз возвращаясь к ней, а в марте — «одну из ближайших “философских” глав “Кто воюет на войне”» [20, 213], близкую по духу «тому свету». Возникает мысль закончить «Теркина» без третьей части. Война уже шла как бы сама собой, уже не надо было воодушевлять кого-то, поднимать, согреть горячим словом в студеном холоде опасностей и бед, как при отступлении. После главы «Смерть и воин», — отмечает поэт, «что-то ушло, оборвалось где-то позади, когда всё с Тёркиным было естественно, необходимо. Похоже, что я остался с ним один, одному мне он интересен, одного меня занимает эта штука» [20, 215]. Он все более вникает в мирные заботы людей, все нетерпеливее ожидает конца войны, ибо она мешает жизни.

Война войной, а рожь течет,
А жить кому-то надо [20, 217].

В главе «На Днепре» мыслимая встреча героя с родным краем выливается в золотую песню любви и покаяния перед ним: «Ты прости, за что — не знаю, Только ты прости меня!..» [8, 301]. Знает: за то, что оставил его на все муки и унижения в плену, за все беды и страхи, обрушившиеся на людей, может быть, и за «великий перелом». В набросках, не вошедших в окончательный текст, автор называет эту встречу нежеланной.

В жизни воина дорожной
По случайности возможной
Завернуть в родимый край
Не желай.

Не желай. С тебя довольно.
Сыт, солдат. Душа полна.
Лучше тещи хлебосольной
Всюду потчует война.

Дым, щебенка, головешки,
Рваной жести скорбный стон,
Бедных беженцев тележки

Всюду есть — из горла вон.
...Что-то с ним такое стало,
Прохватило до души [20, 211–212].

Отсюда понятнее слезы героя, на веку которого две войны. И у автора тоже...

Выйти из кризиса, одолеть депрессию, дописать поэму автор обещает «на новом подъеме духа», ибо «не на каждой кочке я могу вдруг запеть» [20, 215; 225]. От войны уже «всеобщая усталость», «это перешло все нормы», «как будто нет и не может быть иной жизни».

День войны и месяц каждый
У меня гудит в костях.
Я у смерти не однажды
Побывал уже в гостях.

Побывал, назад вернулся,
Отставать — беда! — не смей.
На ходу переобулся
И опять туда, где смерть... [20, 231],

Не уйти от войны стремится поэт, а включить ее в более широкий замысел — война и жизнь. Ровно за год до Победы он задумывает «Поездку в Загорье» — «повесть не повесть, дневник не дневник, а нечто такое, в чем свяжутся три-четыре слоя разновременных впечатлений от детства до вступления на родные пепелища с войсками в 1943 г. и до нынешней весны...» [20, 220].

Однако вновь властно позвала война, началось величайшее наступление — операция «Багратион», напомнившее ему лето 1941 года. «Все как три года назад. И только — мы идем на запад и занимаем города. И мы долбим противника с неба и с земли, и окружаем, и пленим, и обгоняем — бьем — мы. Но топчем землю мы родную, и мы жестоки. А земля — она как будто постарела, как мать стареет вдруг от беды. Как мать от горя и беды. Ее цветенье — повторенье как будто мягче и смиренней. И все на свете ждет конца» [20, 234].

Твардовский, окрыленный успехами наступления, словно летает над фронтом, пишет «чего-то с жаром, как в первые дни войны, только по другой причине» [20, 236]. Он замечает, что мы и немцы поменялись местами, что мы теперь главные в войне, от нас зависит ее ход и результат. Но от этого война не перестает быть войной, т.е. разрушать, сжигать, убивать. В «Переправе» несчётно тонули наши, в главе «На Днепре» — «они».

А на левом с ходу, с ходу
Подоспевшие штыки
Их толкали в воду, в воду,
А вода себе теки... [8, 305].

Народ честной шутит над «беспорточным» немцем, сдающимся в плен, но Теркина это уже не веселит, у него нелегкая дума на душе.

И молчал он не в обиде,
Не кому-нибудь в упрек, —

Просто, больше знал и видел,
Потерял и уберег... [8, 305].

Твардовского окрыляло и радовало не только наступление, но больше всего близкий конец войны. Выход на государственную границу означал для него этот конец. Наше решительное наступление он переживает как дни «невероятного, душу потрясающего торжества армии и народа, торжества, которое хоть и не воскрешает убитых и замученных, но живым компенсирует за 41-й год, за всё» [20, 250]. Война как бы вернулась на круги своя, родная земля спасена и освобождена. Что же дальше? Новые жертвы и муки? Твардовский спешит к границе, но не переступает ее вплоть до конца января 1945 года. Почему? Загадка. В дни ликующего наступления вдруг появляется такая дневниковая запись: «Почему так устала душа ото всего и не хочется писать, надоела война?» [20, 251]. Она надоела Теркину, надоела народу, так дорого за нее заплатившему, истерзала всю душу поэта. У него «именно в последние месяцы перед победой со всей силой сказались и отвращение к войне как состоянию для людей ненормальному, противоестественному», — пишут В. и О. Твардовские [22, 19]. Среди бойцов, особенно старших по возрасту, уже проявлялось «местническое» отношение к войне у границы. Любопытна запись в дневнике, сделанная ещё осенью 1942 года на ржевских рубежах. «На краю деревни Крутые рядом с пустыми немецкими окопчиками... на бревнышке сидит старуха, вяжет что-то. Уже больше двух недель, как здесь прошли наши... И ей уже кажется, что война кончилась, во всяком случае вступила в какой-то второстепенный этап — деревня Крутые освобождена, еще бы сыну вернуться с фронта, родне подсобратиться из лесов и окрестных деревень и жизнь будет идти своим порядком здесь, вблизи от фронта...» [20, 104]. Наверно, так думали многие, проходя в наступлении через родные города и села, особенно у границы: страна очищена от врагов, значит и войне конец, пора домой, к семье и детям, к любимой работе. О том же мечтал и народный поэт, радуясь нашему успешному наступлению. Но война не отпускала. Наступал судный час войны, час возмездия над зачинщиками и злодеями за все, что они натворили на нашей земле.

Твардовский в грохочущих залпах Победы словно парит над землей, оглядывая с большой высоты произошедшую трагедию. Он весь поглощен подведением итогов своих трудов и дней на войне, он поднялся на новый уровень её понимания. Война как роковой феномен человеческой жизни, запечатленная в его стихах, дневниках и прозе, каждой строкой вызывает о том, чтобы она была последней, ибо ни одному народу она не в радость. Свой вывод он сделал ещё

в 1943 году: «Война не является постоянным состоянием человечества, война наша ведётся в перспективе для уничтожения войны, культ войны не наша идеология» [23, 214].

ЛИТЕРАТУРА

1. Эренбург И. О поэте Гудзенко / И. Эренбург // Литературное наследство. — М., 1966. — Т. 78. — Кн. 1.
2. Геллер М. Литература первой мировой войны / М. Геллер // История русской литературы. XX век. Серебряный век. — М., 1995.
3. Жилин П. А. Подвиг народа и уроки истории / П. А. Жилин // Октябрь. — 1985. — № 5.
4. Потапов Н. Портрет сражающегося народа / Н. Потапов // Октябрь. — 1985. — № 5.
5. Хаузер Г. Надо ли до сих пор писать о войне? / Г. Хаузер // Вопросы литературы. — 1970. — № 12.
6. Ананьев А. Давно и ... сегодня / А. Ананьев // Новый мир. — 1985. — № 5.
7. Генатулин А. Возвращение к победе / А. Генатулин // Новый мир. — 1985. — № 5.
8. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1977. — Т. 2.
9. Твардовский А. Василий Теркин. Книга про бойца. Теркин на том свете. Неизданное / А. Т. Твардовский. — М., 2010.
10. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1978. — Т. 3.
11. Там же.
12. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1978. — Т. 4.
13. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1978. — Т. 4.
14. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1977. — Т. 2.
15. Кондратович А. «Петь привыкший на войне...» (Об А. Т. Твардовском) / А. Кондратович // Оружием слова. — М., 1978.
16. Литературная газета. — 1947. — 22 февр.
17. Литературное обозрение. — 1985. — № 5.
18. Фиксин С. Стихи, рожденные на фронте / С. Фиксин // Большевикский молодец. — 1940. — 10 окт.
19. Учительская газета. — 1943. — 21 апр.
20. Твардовский А. Военные годы. Часть первая. Дневники 1941–1945 / А. Т. Твардовский. — М., 2015.
21. Красноармейская правда. — 1943. — 13 марта. — № 63.
22. Твардовская В. А. Об этой книге / В. А. Твардовская, О. А. Твардовская // Твардовский А. «Я в свою ходил атаку...» Дневники. Письма 1941–1945. — М., 2005.
23. Твардовский А. Письмо В. Б. Александрову. 1943 г. // Цит. по: Романова Р. Александр Твардовский. Труды и дни. — М., 2006.